

ГОРЕЛОВ И. Н.

ЭНАНТИОСЕМИЯ КАК СТОЛКНОВЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ

1. Конспектируя предисловие ко второму изданию «Науки логики» Гегеля, В. И. Ленин специально отметил лингвистическое наблюдение автора в своем частичном переводе: «В немецком языке иногда слова имеют „противоположное значение“... (не только „различные“, но и противоположные)» [1]. Внимание Ленина к этой части гегелевского текста объясняется, как мы полагаем, тем, что в ней затрагиваются проблемы соотношения формы и содержания, актуальные и для современной лингвистики.

В контексте гегелевского предисловия указанное наблюдение выглядит как подчеркивание особых свойств немецкого языка: «... немецкий язык обладает... многими преимуществами перед другими новыми языками; некоторые из его слов отличаются от слов других языков даже тем, что могут иметь не только различные, но и противоположные значения, так что за ними нельзя не признать умозрительности самого духа языка: встреча с такими словами доставляет радость мышлению...» (12, с. 20); перевод и разрядка наши. — Г. И.)¹.

Суждение великого диалектика о «преимуществах» немецкого языка объясняется, конечно, тем, что свой собственный язык он знал лучше других языков. Но само наблюдение тем более интересно, что явление энантиосемии со времен Гегеля более или менее полно не описано ни по одному языку, хотя, разумеется, привлекает внимание специалистов [3, 4]. Мы также не претендуем на исчерпывающую полноту, ограничившись лишь выяснением места рассматриваемого языкового явления в аспекте «значение — форма» в качестве артефакта².

Термин «энантиосемия» иногда приравнивается к «антифразису» или даже «эвфемизму» (в одном из значений последнего); «антифразис» же толкуется как «троп, состоящий в употреблении слов в противоположном смысле (в сочетании с особым интонационным контуром)» [6, с. 49]. Там же пример: «Какая прелесть! Обмануть человека, а потом притворяться ангелом!» [6, с. 49]. В такой интерпретации «антифразис» и «энантиосемия» выглядят как способы достижения иронического или саркастического эффектов, причем через интонацию, но тогда нет смысла говорить об энантиосемии как о «поляризации значения» [6, с. 339, с. 526] на языковом уровне. Ведь не только слово или словосочетание, но предложения и тексты в определенных речевых (интонационных) и коммуникативно-ситуативных условиях могут быть полярно амбивалентны. Гегель же имел в виду именно поляризацию значений одного и того же слова в не указанных условиях. Поэтому нас интересует не способ достижения иронического эффекта, а напротив, энантиосемия как языковой результат, получаемый, в частности, также и из иронического словоупотребления

¹ Ср. в оригинале: «...die deutsche Sprache hat... viele Vorzüge vor den anderen modernen Sprachen; sogar sind manche ihrer Wörter von den weitem Eigenschaft, verschiedene Bedeutungen nicht nur, sondern entgegengesetzte zu haben, so daß darin selbst ein spekulativer Geist der Sprache nicht zu verkennen ist; es kann dem Denken eine Freude gewähren, auf solche Wörter zu stoßen...» [2, с. 20].

² Артефакт (artefactum) понимается здесь как эффект, противоречащий регулярным (содержательным и функциональным) характеристикам какого-либо явления. В данном случае артефактом названа энантиосемия как «омонимичная антонимия». О термине «артефакт» см. [5].

в речи. Гипотетически такой результат был получен — по мнению Л. П. Крысина — из иронического, шутливого использования слова *честить* (в значении «воздавать честь»), в котором «развилось энантиосемическое значение „ругать, бранить, поносить“. Это второе, производное значение живо и сейчас, а первоначальное забылось» [7]. В этом же источнике показано, что не только прония порождает энантиосемию: в слове *лихой* выражалось только отрицательное значение («плохой, дурной»), когда оно использовалось в книжном языке. Но в народном языке... стало развиваться и положительное (значение. — Г. И.) — „удалой, смелый“» [7].

Ныне, как известно, *лихой* имеет положительное значение в сочетаниях типа *лихой казак*, но отрицательное в реликте *лиха беда начало* и в *шофер-лихач*, *лихачество*. *Бесценный* как «имеющий очень высокую цену» сегодня встречается реже, чем прежде (*дар бесценный*), а *бесценюк* имеет (как и *обесцененный*) значение «не имеющий никакой или почти никакой цены». *Блаженный* — либо «больной, несчастный», либо «в высшей степени счастливый», причем второе явно доминирует. Если ограничиться этими примерами, может создаться впечатление, что энантиосемия, во-первых, наблюдается чаще в диахронии, а во-вторых, что поляризация значения приводит к устареванию или исчезновению лишь значения со знаком «минус».

Можно показать, однако, что в современных языках энантиосемия не представляет особого раритета, обнаруживая даже определенную прогрессивную тенденцию. Приведем примеры из русского языка:

вырезать — «С *вырезанным* узором рукоятка выглядела лучше, чем прежде. Я могу тебе *вырезать* так же» (здесь речь идет о с о з д а н и и у з о р а там, где его раньше не было). «*Вырезали* аппендикс? Без него будет легче жить» (здесь речь идет об у д а л е н и и того, что было). Обратим внимание на использование предлогов *с* и *без*, подчеркивающих «плюс» и «минус» в значениях глаголов;

выработать — «...и *выработано* много сверхплановой продукции» (т. е. продукции п р и б а в и л о с ь). «Шахту *выработали*, и поселок постепенно захирел» (т. е. продукция (уголь) и с ч е з л а). «Плюс» в первом случае, как и «минус» во втором, очевидны;

выбить — «Видишь, один глаз я уже успел *выбить*, но он мне не нравится»³ (и здесь, как и в случае с узором, речь идет о п р и б а в л е н и и детали к имевшемуся целому). «Все стекла оказались *выбитыми*» (т. е. у д а л е н н ы м и, о т н я т ы м и от целого, от окна, от дома);

разбить — «Дом оказался совершенно *разбитым* бомбой» (целое н а р у ш е н о, явный «минус»). «На месте пустыря *разбили* клумбы» (с о з д а л и то, чего раньше не было);

задуть — «Домну *задули* в торжественной обстановке» (р а з о ж г л и, «плюс»). «Даша *задула* свечу. Стало совсем темно» (п о г а с и л а огонь, «минус»).

Приведем аналогичные примеры из немецкого языка.

Глагол	«плюс»-значение	«минус»-значение
<i>abbinden</i>	«наложить повязку»	«отвязать что-либо»
<i>abdachen</i>	«покрыть крышей»	«снять крышу»
<i>abdichten</i>	«уплотнить»	«разуплотнить»
<i>abdecken</i>	«покрыть»	«снять покрытие»
<i>abhelfen</i>	«поднять к делу»	«вынуть из скоросшивателя»
<i>abjournen</i>	«открыть огонь» (воен.)	«прекратить огонь» (воен.)
<i>abhängen</i>	«повесить трубку (телефона)»	«снять (с вешалки)»
<i>abfedern</i>	«снабдить рессорами»	«снять рессоры», «ощипать»
<i>abfischen</i>	«ловить рыбу»	«прекратить ловлю рыбы»
<i>abdielen</i>	«настлать полы»	«содрать старые полы»
<i>abblücken</i>	«задрать люки» (морск.)	«отдрать люки» (морск.)
<i>abjetten</i>	«пропитать жиром»	«очистить от жира»
<i>abputzen</i>	«штукатурить заново»	«отбить старую штукатурку»
<i>abpfählen</i>	«огородить кольями; поставить вежи»	«убрать колья (вежи)»

³ Запись реплики скульптора об алебастровом портрете.

Поскольку в этом ряду мы видим отделяемый компонент *ab-*, семантически близкий русской приставке *от-* (интересно отметить параллельно наблюдаемое в обоих языках ослабление «изначальной» семантики данных элементов в пользу поляризации значений в одной и той же форме), то можно предположить, как нам представляется, наличие с т а д и и десемантизации, предшествующей с т а д и и энантиосемии, которая появляется позднее. Кстати, в только что употребленном нами глаголе *отметить* префикс *от-* лишился семантики, противопоставлявшей его префиксу *при-* (ср.: *приметить*, *заметить*, *отметить* могут быть взаимозаменяемыми в одних и тех же контекстах). Мы говорим *отбелить* в значении «белить, придавать белизну»; *отштукатурить* в значении «штукатурить, нанести слой штукатурки», а не «удалить» ее; *отстроить* дом (относительно не в смысле «разрушить, разобрать»); *отделать* ч.-л. бронзой, «под мрамор», лепниной, кружевами (ср. *отделаться* от ч.-л.). Немецкие лингвисты пишут о сходном (если не тождественном) явлении: «Современному носителю языка кажется уже недостаточным использование формы: *kassieren*, *senken*, *sichern*, *schirmen*. Он хочет быть точным, пользуясь формами *abkassieren*, *absichern*, *absenken*, *abschirmen*» [8, с. 272]. Указывая на некие «тонкие нюансы» (*feine Nuancen*), которые как бы прибавляют к беспрефиксальным «дублерам» нечто уточняющее, авторы не приводят никаких доказательств своей правоты, а все подобные «шары» продолжают пока что функционировать совершенно равноправно — как полные синонимы. К сожалению, беспрефиксальные единицы, легко переводимые на русский язык [соответственно: *кассировать*, *оседать* (*понижаться*), *страховать*, *заслонять*], становятся едва ли переводимыми в префиксальной модификации как-то иначе, с учетом «тонких нюансов». Можно только искусственно создать «эквиваленты» типа: *откассировать*, *полностью понизить*, *полностью закрыть* (*заслонить*), *завершить страхование до конца* и т. п. Но как с префиксами, так и без них носители немецкого языка используют указанные глаголы с дополнительными лексическими маркерами, указывающими на предельность действия.

Если авторы цитаты сами используют «тонкие нюансы», то им можно было бы возразить; например, вышедшее в том же издательстве пособие указывает, что *Nuance* «нюанс» означает «тонкое различие, тонкий переход (*feiner Unterschied*), тонкое изменение (*feine Wendung*), тонкость (*Feinheit*)», отчего «нюансирование, нюансировать» (*nuancieren*) «почти незаметно изменять (*fast unmerklich ändern*)» [9]. Следовательно, и русские «тонкие нюансы» наводят на мысль о десемантизации иноязычного составляющего в новой среде обитания. Подобно тому, как все больше распространяется *служба сервиса* или *прейскурант цен* [при этом игнорируется, что *служба* и *service* однозначимы, как и *Preis* и *цена*; первая иноязычная единица восходит к лат. *servus* «раб, слуга»; вторая вошла в русский язык до дифтонгизации корневого долгого гласного в виде «приза» (премии)].

Таким образом, мы считаем явлениями сходного порядка (десемантизацией, лежащей в основе возможных будущих поляризаций значений) использование в качестве синонимов *придется белить* и *придется отбелить*, а также настойчиво поддерживаемое прессой и телевидением сочетание типа *стартовал финиш*. Таким образом, вполне вероятно появление и *финиширующего старта*. Разница лишь в том, что в одном случае речь идет о семантических сдвигах и поляризации значений элементов слова и самих слов родного языка, а в других — о приблизительном (неточном, даже искаженном) осмыслении элементов и слов языка чужого. Вероятно, наиболее яркой иллюстрацией последнего механизма (недопонимания значений элементов неродного языка) может служить ставшее узальным для *проформы*, где лат. *pro* и есть *для*, что не осознается говорящими, а делать ч.-л. *про форма* или *проформа* (*pro forma*) синтаксически чуждо русскому языку.

Возвращаясь к немецким глаголам с *ab-*, составляющим значительную, весьма продуктивную группу (более 500 единиц), отметим, что словари не успевают фиксировать новые образования и что более 200 глаголов ис-

пользуются одинаково или почти одинаково с префиксами и без них. Как указывалось выше, префикс *ab-* сам по себе не предписывает говорящему (пишущему) учитывать «оттенки завершенности», «предельности», и лексический маркер этих качеств постоянно присутствует при наличии *ab-* или может отсутствовать при отсутствии *ab-*. Так, например, употребляются пары *ändern — abändern*, *biegen — abbiegen*, *borgen — abborgen*, *bohren — abbohren*, *bügeln — abbügeln* и др.

В сочетании *abzuackern beginnen ab-* парадоксальным образом используется при наличии «глагола зачина», а глаголы *abtrensen*, *abgattern* не имеют вообще беспрефиксальных «предшественников» (нет *trensen*, *gattern*). Причудливость некоторых аналогий, по которым *ab-* либо обнаруживается, либо нет, хотя и «ожидается», видна, например, в *blättern*, *abblättern*. Оба глагола означают «обрывать листву» или «осыпаться» (о листве), и *blättern* означает также «листать» (книгу). Можно было бы ожидать наличие *abblättern* в значении «пролистать книгу», но его нет. В то же время *abblättern* (без *blättern*) стало медицинским и минералогическим термином («шелушиться» — о коже) и («отслаиваться» — о слюде, сланце и др.).

В современной технике фотографии и полиграфии уже редки приемы «снятия», «стягивания» отпечатка с негатива или матрицы (при фотонаборе, например), но глагол *abziehen* функционирует, как и прежде, что не мешает носителям языка «хотеть быть точными в выражении» (см. цитату выше со ссылкой на [8]).

Бряд ли можно с достоверностью установить причину, в силу которой глагол *отказать* в русском языке, имея первоначальное значение «распорядиться о даре, наследстве (передать их к.-л.)», стал ныне общеупотребительным в противоположном по смыслу значении («отказать в наследстве, даре, премии, помощи» и т. п.). Использование глагола в прежнем значении чрезвычайно редко, воспринимается как архаизм (например: «Незадолго перед кончиной он написал завещание, *отказав* одиннадцать тысяч фунтов стерлингов в пользу душевнобольных». Ю. Семенов. Приказано выжить). И если вначале *шабашить* означало «кончать работу; отпраиваться после работы на отдых», то трудно (если возможно вообще) мотивировать нынешнее значение глагола («работать» и даже «интенсивно работать») в сочетаниях типа: *Шабашили на славу, до седьмого пота*.

Энантисемию охватывает, конечно, не только глаголы⁴, как это может показаться; нашими примерами вообще далеко не исчерпывается глубина и распространенность этого, чрезвычайно интересного, малоисследованного способа «скращения омонимии и антонимии». Существительное *собака*, например, явно обнаруживает склонность к энантисемии: *Собака — друг человека* («плюс»); *Собаке — собачья смерть* («минус»).

Англ. *puddle* энантисемично, если сопоставить значения «лужа» и «водонепроницаемая обклейка, обшивка». Русск. *половина* («равная из двух частей») используется в значении «неравенства» — «большая половина», «меньшая половина». Англ. прилагательное и производное наречие *apparent/apparently* означают полярные понятийные содержания (соответственно *явный/явно* и *кажущийся/вероятно*). Англ. местоимение *either* в этом значении объединяет («оба, тот и другой»), а в другом — разделяет («один из двух, каждый»).

Специальное изучение фразеологии в интересующем нас плане может дать неожиданные результаты, своеобразные «энантисемантические окказионализмы». Если, например, сопоставить две пословицы — *Сытое брюхо к учению глухо* и *Голодное брюхо к учению глухо (ушей не имеет)*, то в антонимичных сочетаниях *сытое брюхо* и *голодное брюхо* второй компонент всякий раз тождествен, как тождествен и предикат при каждом именном сочетании. Формально-логически безупречно выводится равенство *голодный = сытый* — при данном предикате⁵. В действительности (по ее диа-

⁴ В других языках смотри аналогично: лат. *adeo, adire* а) «просить о помощи» и б) «нападать, идти против»; англ. *to hat* а) «снимать шляпу» и б) «надевать шляпу».

⁵ Аналогичному анализу поддаются и другие пары: русск. *Умный учится, дурак учит — Учи других — сам поймешь*; *Женский ум лучше всяких дум — У бабы ум короток, волос долог*; *За свой грош везде хорош — Не в деньгах счастье*; нем. *Geld macht*

лектической сущности) такого равенства, разумеется, нет, но на таких и подобных примерах иллюстрируется главная причина, источник противоречивости «знакового поведения» — противоречивость объекта познания и противоречивость процесса познания объекта, включая и способы его номинации.

2. Исследование проблемы «языковое значение — языковая форма» в любом случае опирается на ту или иную интерпретацию философского положения относительно связи «содержание — форма». Аристотель был убежден в том, что «связывание и разъединение находятся в мысли, но не в вещах» [10, с. 186], и этот же тезис, на первый взгляд, подтверждается примером В. М. Жирмунского. Он показывает, что функционирующие в Гессене (на совсем небольшой площади вокруг г. Вецлар) 35 синонимов со значением «божья коровка» (энт. *Coccinella septempunctata*) никак не укладываются в так называемые «связи вещей», но констатируют как раз «связывание в мысли», точнее — мысленные отражения фантастических связей фантастических же представлений [11]. Собственно говоря, и научный термин лишь во второй своей части отражает реальные «связи вещей» («семь точек» на крылышках насекомого). Парадоксальным образом древний философ, столь внимательно наблюдавший за фактами родного языка, пришел к абсолютно априорному суждению: «совершенно очевидно, что определение есть обозначение сути бытия вещей...» [10, с. 195]. Аристотель полагал, несомненно, что «несущественные» определения аномальны для языка человека в той же мере, в какой аномален для него ход мыслей, направленных на «случайные свойства объекта..., вносящие незначительный вклад в наше знание об объекте или не вносящие ничего...» [12, с. 134]. Отметив особую живучесть аристотелевой концепции мышления и языка, У. Лабов формулирует нетривиальное положение: «...мы не поймем, каким образом конструируются границы между категориями или как дискретные категории накладываются на непрерывную действительность, до тех пор, пока не научимся исследовать эти границы с аналитических позиций. А это означает преимущественное внимание к пограничным случаям, которые не могут быть с уверенностью помещены по ту или другую сторону рассматриваемой границы» ([12, с. 134]; разрядка наша. — Г. И.).

Мы еще вернемся к методам исследования значения У. Лабовым, к тому, что именно следует считать «пограничными случаями».

Конкретные исследовательские задачи всякий раз заставляют различно описывать связь «значение — форма». Различия в методах и результатах лингвистических описаний бывают принципиальными, но расхождения объясняются, как правило (в отечественном языкознании), не методологическими ошибками, а, во-первых, особой сложностью объекта рассмотрения (язык, речевая деятельность), во-вторых, объективной диалектичностью (в смысле единства противоречий) самой сущности отношений «содержание — форма», в-третьих, нечеткостью, неразработанностью метаязыка описания.

Судя по чрезвычайно разнообразным и многочисленным текстам лингвистических описаний по данной теме (здесь невозможно даже простое перечисление самых основательных работ), тезис о неразрывном единстве содержания и формы усвоен всеми (и полностью) лучше всего остального. Но им, этим тезисом, отнюдь не исчерпывается реальное положение вещей. В самом деле, если прочитать, что «отношение содержания и формы характеризуется единством, доходящим до их перехода друг в друга.» ([13, с. 621—622]; разрядка наша. — Г. И.), то можно ли назвать лингвистическую работу с исследованием языковых фактов таких переходов? «Содержательность формы» — привычное исткуствоведческое понятие. Но в языкознании оно слишком часто превращалось в инструмент отождествления мышления и языка, языковой формы и языкового значения. Между тем, именно различные способы звуко-

den Mann «Деньги делают мужчину»; *Lieber hab' ich viel Kind, als viel Gold* «Лучше много детей, чем много золота»; *Gold und Geld sind gut, aber Hold und Held — besser* «Хороши золото да деньги, но герой(ство) и душевность лучше».

Символизма, идеофонии — от прямых звукоподражаний до аллитераций — и представляют в сфере человеческого языка указанные переходы содержания и формы друг в друга. Имеющиеся работы по фоносемантике [14, 15], конечно, значительны и интересны, но их мало.

Далее, указанное единство (содержания и формы. — Г. И.) является относительным. Во взаимоотношении содержания и формы содержание представляет подвижную, динамичную сторону целого, а форма охватывает систему устойчивых связей предмета... Возникшее в ходе развития несоответствие формы и содержания в конечном счете разрешается „сбрасыванием“ старой и возникновением новой формы, адекватной развившемуся содержанию» [13, с. 621—622].

Но необычайная сложность проблемы заключается, в частности, и в том, что имеют место как объективные (физический мир, например), так и субъективные (индивидуальное сознание, например) факторы, влияющие решающим образом на «разрешение несоответствий». В одних случаях качественные изменения всякий раз закономерно (во времени и в пространстве) сопровождаются «сбрасыванием» неадекватной формы. В других, например, в языке, «сбрасывание» формы затягивается. Поэтому К. Маркс указывал на необходимость «генетически вывести различные формы» [16, с. 526], на необходимость понимания «... действительного процесса формообразования в его различных фазах...» [16, с. 526]; разрядка наша. — Г. И.), а В. И. Ленин — также вполне определенно — на то, что новое содержание «... может и должно проявить себя в любой форме, и новой и старой, может и должно переродить, победить, подчинить себе все формы...» [17]. Таким образом, характеризуя весь спектр отношений в единстве составляющих «содержание — форма», мы обязаны считаться со всеми тремя тенденциями: 1) к «сбрасыванию» устаревшей формы, 2) к сохранению устаревшей формы, 3) к переходу (взаимному) содержания и формы. Эти три тенденции в полной мере сохраняются как сущности диалектического целого в языке, определяют факты его существования и развития.

3. В статье «Лингвистические постулаты» А. Е. Кибрика имеется вступительная часть с авторскими самокритично-упреждающими замечаниями, согласно которым излагаемое в его статье наделяется свойствами «неоригинальности», «крайней дискуссионности», «спекулятивности» и «фрагментарности» [18, с. 24—25], поскольку он, автор, осознает, что его идеи «вступают в противоречие со стереотипом устоявшегося взгляда на лингвистику» [18, с. 24—25]. Не выступая здесь в роли рецензента статьи А. Е. Кибрика, выразим все же уверенность, что эта статья — в высшей степени интересная и полезная, на наш взгляд, — еще вызовет отклики.

Один из постулатов — «О единственности значения» разъясняется так: «Каждая форма имеет, как правило, одно значение» [18, с. 36]. И далее: «Постулат „О единственности значения“ не утверждает, что обнаружение значения языковой формы есть тривиальная операция, он предполагает, что при этом должны быть „вычтены“ из различных употреблений данной формы те „приращения“, которые возникают в тех или иных контекстах» [18, с. 36]. Вводное «как правило» в нашем рассмотрении мы опустим, так как никто еще не пробовал доказать на материале хотя бы одного (любого) языка, что существуют «правила однозначности» или «неоднозначности» и как широко они простираются. Интуитивно ясно (т. е. и до всеобъемлющих, абсолютно точных доказательств) всем, включая А. Е. Кибрика, что наличествуют «приращения», приводящие к полисемии. Но следует ли понимать постулат в том смысле, что «изначально» единица как форма существования коммуникативного элемента языка имела одно-единственное значение, к которому затем (в ходе ее использования) «прирастались» некоторые семантические «прибавки»? Или же, скажем, «единственность значения» предполагает наличие основного значения, которое «просвечивает» в любой системе полисемии «при единице»?

Что именно мы найдем через «вычитание приращений» — «изначальное» значение или же «основное», пережившее все и всяческие диахрони-

ческие кризисы, включая и самые причудливые «переносы» по случайным аналогиям?

Этимологические исследования не могут привести нас — из-за известных ограничений в материале — к «изначальным» формам и значениям какого бы то ни было языка. Но если мы имеем представление об общих закономерностях знакообразования и функционирования знаков, то мы знаем, что в принципе может, а что — не может иметь места. Именно вопреки упомянутой аристотелевской концепции «связь вещей» существует, как существуют и их многообразные сущности в непрерывности всего объективного. Но язык — как система коммуникации через посредство номенклатуры знако-номинаций — всегда беднее мира, непрерывно познаваемого, но не исчерпаемого в процессе познания. Языковой знак в с е г д а существует в дискретной форме, несравненно более «узкой», чем «означаемое».

В момент первичной номинации (т. е. в ситуации, когда некое явление еще не названо, но воспринято как отличное от других) есть, несомненно, стадия существования явления «вне имени». Та или иная сторона явления оказалась познанной, явление «готово быть названным». В момент присвоения ему имени последнее п р и п и с а н о, причем отраженное мысленное содержание явления, конечно, находится в психике того, кто его открыл и собирается дать ему имя. Но в дальнейшем в памяти «открывателя» уже хранится образовавшаяся связь «явление — образ явления — имя», первая часть которого (само объективное явление) остается, конечно, вне «открывателя», но через образ и через имя можно узнать другое явление того же класса, сформировать отношение к нему, воздействовать на него. Далее наступает «период обращения имени» — если «открыватель» сообщает другим о том, что он открыл. С помощью остенсивного (его еще называют «остенциональным») определения, т. е. через наглядную семантизацию⁶ связь «образ явления — имя» становится общим достоянием, ф у н к ц и о н и р у ю щ и м з н а к о м я з ы к а. Более или менее идентичные «образы явления» оказываются уже в памяти носителей «имени его», что обеспечивает коммуникативную пригодность знака. Ясно, что эта пригодность предполагает и более или менее сохраняемую идентичность «имени» как формы «хранения образа» в коммуникации.

Представим себе, что некий открыватель, индоевропеец, обратил внимание на многолетнее полукустарниковое растение, которое не было известно ему раньше, не имело имени. Он назвал его *рута*, и мы вправе предполагать, что этот знак не был «примарно мотивирован». Возможно, что подбирая имя, открыватель заботился либо о том, чтобы оно отличалось от названий других (похожих) растений, либо, напротив, о том, чтобы новое имя напоминало другие имена других предметов, символизируя их; возможно, что — нам это совершенно неизвестно — новое имя было просто производным от ранее известного. Так или иначе, но впоследствии *Ruta graveolens* стала ботаническим и лекарственным термином. В славянской среде определенные культурные факторы превратили это душистое растение в символ девичества и призыва к избраннику (ср.: «Пуцу рутвянь наводу») [19, с. 115], и само слово *рута* выступает, конечно, с «приращением» семантического порядка, как и сам предмет. Гораздо позднее мы видим этот корень в заимствованном из немецкого *шпицрутень*. В самом немецком корневая морфема уже успела к тому времени обрести разными «приращениями»: *Spießrute* — как «живая ветвь», как «шпицрутень»; *Weidenrute* — как «материал для плетения корзин»; *Besenrute* «материал для вязки веников»; *Angelrute* — как «удочка»; *Wünschelrute* — как «указатель подземной воды» и т. д. [20].

Но еще во времена В. И. Даля *рута* имела разговорный синоним с ярко выраженным отрицательно-экспрессивным значением, которое мы здесь позволим себе не приводить [19, с. 115]. Данный пример, отнюдь не самый разительный в истории слов, охватывает лишь известные нам «прираще-

⁶ Так мы пытаемся описать частный случай; в других случаях определение «ного» проходит, естественно, средствами уже сформированной системы других знаков.

ния», некие диахронические «вехи», результаты, а не процесс. Вместе с тем, как видим, существовали и существуют еще для каждого подобного случая самые неожиданные пути для реализации самых неожиданных потенциалов, заключенных в связи «языковое значение — языковая форма». «Уже самый простой разговор одного человека с другим, — пишет А. Ф. Лосев, — возможен только потому, что каждое слово и каждый языковой элемент заряжен бесконечным количеством разного рода смысловых оттенков, и мы даже сами не замечаем, какое огромное количество этих оттенков выступает в наших словах и какое огромное количество этих оттенков должно заключаться в наших словах, чтобы мог состояться самый обыкновенный разговор» [21, с. 141]. Внимательно вчитавшись в статью А. Е. Кибрика, невозможно себе представить, чтобы автор, говоря о «единственности значения» [18, с. 36], имел в виду некое изначальное специализированное значение. «Единственность значения» следует понимать как основное значение, но не как «статическую категорию» (определение в отрицательном смысле дано А. Ф. Лосевым, см. [21, с. 139]). В качестве искомого — согласимся с этим — надо назвать валентность, которая «указывает не только на подвижный смысловой характер слова, но, несомненно, также и на смысловую динамику валентности» [21, с. 139]. В отличие от полисемии, обнаруживающей статику ряда, только валентность в состоянии дать общую картину своей «порождающей силы», механизм «приращений» и реализации «разносторонней и даже трудно исчислимой семантической потенции», которой наделяется функционирующий знак языка [21, с. 139]. Особая трудность указанного «исчисления» не может быть, на наш взгляд, преодолена исключительно теми методами, которыми чаще всего пользуется традиционная лингвистика. Но мы хотели бы отметить работы М. М. Маковского [22, 23], чья теория лексической аттракции направлена не только и не столько на упорядочение этимологических изысканий, сколько на вскрытие закономерностей «семантических сдвигов» в микросистемных элементах. Показано, причем, на наш взгляд, весьма убедительно, на большом материале, каким образом такие сдвиги приходят во взаимодействие с аналогичными в других микросистемах, как образуется «общая результирующая» в макросистеме. Представляется полезным в будущем экспериментально поддержать теорию лексической аттракции, исследовать закономерности ошибок и оговорок всякого рода в речевой продукции, например, контаминации. В онтогенезе речи также множество «самодельных» аттракций.

Уже упомянутый в начале статьи У. Лабов анализирует структуру денотативных значений, опираясь на ряд экспериментов 40—70-х годов. Статья У. Лабова появилась в переводе в 1983 г., т. е. спустя пять лет после ее публикации в оригинале [24]. В переводе она, к сожалению, сокращена почти на треть, но именно сокращенные части содержат интересные для нас данные по самой ранней стадии речевого развития ребенка, становления значений первых его слов. В статье освещается процесс распада денотативной структуры, приспособление лингвистической и экстралингвистической информации к формальным моделям слова и словосочетания. У. Лабов констатирует (вслед за своими предшественниками) наличие в речевом развитии ребенка стадии, на которой особая ограниченность словаря заставляет ребенка, желающего общения, невольно «расширять значения» слов, которыми он оперирует. По сути дела, в раннем онтогенезе уже существуют многочисленные и своеобразные (но универсально-закономерные!) «приращения» значений к первоначальным, пришедшим к ребенку вместе с первой формой. В ходе «разложения» и «переразложения» различных денотативных структур, «прилаживания» их к получаемым новым готовым формам ребенок обнаруживает вполне «взрослые закономерности» обращения со знаком; здесь мы имеем дело с моделью знакового функционирования со всеми ее стадиями. Наконец, описывая собственные эксперименты в сфере проблемы обозначения, У. Лабов указывает на размытость, подвижность границ между теми различными (казалось бы!) мысленными содержаниями, которые ребенок и взрослый носитель языка вкладывают в различные же словесные

формы типа *cup, bowl, glass*; ранее (другими экспериментаторами) исследовались границы значений между словами: *chair, sofa, bench, child, adult, youth, man* [12, с. 148] и т. д. (какими их видят, эти границы, носители данного языка)⁷. Все эти эксперименты (как и методы статистической обработки и построения кривых и графов) требуют, конечно, соответствующей подготовки, экспериментального (нелингвистического) материала и т. д. и т. п. Но направлены они в конечном счете и на совершенствование лексикографического дела (об этом пишет сам У. Лабов там же), на измерение значений единиц языка, на выявление путей, по которым развиваются значения «на воле», в естественных условиях.

«Невозможность полного описания значений всех слов толковыми словарями, — пишет В. Ф. Петренко, — заставила использовать ряд значений в виде изображений» [25, с. 7]. Поэтому в качестве одной из важнейших составных своей работы автор видит «исследование невербальных форм фиксации значения в системе визуальных образов» [25, с. 7]. Прибегая к лингвистическим аналогиям, автор рассматривает наиболее универсальные формы общения — как в образах, так и в вербальных средствах выражения. Здесь мы тоже встречаемся со специфической экспериментальной базой, с несобственно лингвистическими способами измерения значения. Но служат эти способы более всего именно лингвистике.

В постулате А. Е. Кибрика «О единственности значения» скрывается, как поясняет сам автор, идея о «незначительной роли омонимии в системе языка» [18, с. 36], о ее непредсказуемости, казуальности «типа того, что Пушкина и Грибоедова звали каждого Александром Сергеевичем» [18, с. 36].

По мнению других, например, А. Ф. Лосева, «все языки переполнены омонимами» [21, с. 143]. Можно, конечно, утверждать, что в арабском (и во всех семитских языках) омонимов практически почти нет, а во французском, скажем, очень много. Стало быть, языки не «переполнены», а «по-разному наполнены» омонимами. Соглашаясь с А. Е. Кибриком в том, что появление омонимов в принципе предсказать невозможно, зададимся вопросом: только ли омонимия не поддается предсказаниям? Кто бы мог предположить, что, например, от древнейшего корня *волох* произойдет сначала обозначение негативного *волохита*, а потом и жаргонно-поощрительный глагол *волокти* («Он у нас в лингвистике здорово *волокет*!»).

Ограниченные возможности человеческой памяти в значительной степени определяют ограниченность словаря. Для каждого значения, теоретически рассуждая, можно было бы создавать особый термин. Но кто бы мог овладеть такой массой словарных единиц? Даже в сфере собственно терминологии стихия (закономерная!) так сильна, что специалисты вынуждены всякий раз «договариваться о терминах», пытаются преодолеть полисемию и омонимию. «Но «приращения» неумолимы, а сами термины — уже в других значениях — выступают в «смежных» и «несмежных» областях; так получилось и с «валентностью», попавшей в лингвистику из химии, подобное будет происходить и впредь. Можно лишь сказать, что подлинная (историческая) омонимия встречается далеко не так часто, как всеобъемлющая полисемия, но все же гораздо чаще, чем энантиосемия. Но и полисемия, и омонимия, и энантиосемия — как бы ни были они (в определенных смыслах) неудобны — существуют как факты тенденции сохранения уже знакомой, традиционной и используемой формы. Стихийно (не смешивать со «случайно») и сознательно сохраняемая, эта тенденция полна сил и целесообразности. По-видимому, энантиосемия — один из крайних случаев противоречивого взаимодействия систем антонимии и омонимии, «точка пересечения двух явлений», отражающая «точку пересечения» трех (отмеченных

⁷ «Ситуация энантиосемии» возникает, когда испытуемые решают дилемму: можно ли приписать одно и то же имя двум различающимся образам (рисункам). Поскольку в «пограничных случаях» такое имя приписывается в ряде случаев (когда семантический признак одного предмета ослабевает, а другого — усиливается), можно достоверно измерить «степень размытости» противопоставляемых значений.

выше) более широких тенденций в аспекте «содержание — форма». Что касается другого постулата А. Е. Кибрика (постулат «О различительности формы»: «Различие в формах связано, как правило, с различием в значениях» [18, с. 37]), то его противопоставление «тезису о распространенности и принципиальной важности явления синонимии» [18, с. 37] совершенно ясно, как и его непосредственная связь с рассмотренным постулатом о «единственности значения». Показав эффектный список контекстуальных синонимов (из текста «Мастера и Маргариты» М. Булгакова), А. Е. Кибрик говорит, что «вне данного конкретного текста тождество денотативного значения» таких единиц, как *владелец портсигара* и *первый человек*, не может быть «никоим образом предсказано» [18, с. 37]. Верно. Но есть ведь и неконтекстуальные синонимы внутри ряда, показанного А. Е. Кибриком: *сумасшедший*, *полоумный*, *больной*; *иностранец* и *заграничный гость* [18, с. 37]. Не так уж трудно найти тексты, которые докажут тождество денотативного значения этих единиц. В тех (весьма немногих, впрочем) случаях, где по всем параметрам синонимы могут быть признаны полными, т. е. всегда взаимозаменяемыми, можно и нужно говорить о лексической избыточности. Синонимия — традиция любого развитого языка, обеспечивающая свободу выбора (ограниченную, разумеется, социальными нормами), позволяющую поддерживать лексическую систему в состоянии потенциальных и реальных выразительных возможностей. Традиция эта непосредственно выражает тенденцию к образованию новых форм, взаимодействующую с тенденцией «сохранения старых форм». Одновременно развитие синонимии идет явно в направлении обособления близких, но не тождественных значений — через присвоение различных имен результатам семантических «приращений».

Если *маршировать* — не то, что *ковылять*, то только потому, что некий (возможно, первичный) «универсальный» глагол со значением «идти пешком; передвигать ногами» «оброс» разными — по необходимости уточнений — формами и значениями: «идти в военном строю» не то, что «передвигаться, опираясь на костыли, палку; идти, хромая».

Непрерывная творимость (ранее сотворенного) языка — это не метафора (в отличие от метафорического «саморазвития языковой системы»), а реальность, определяемая деятельностью множества людей на протяжении громадных промежутков времени. В процессе сотворения языка обеспечивается рождение и сохранение в нем логичного, аналогичного и алогичного, регулярного и частого, редкого и частного. Любой артефакт может быть поддержан, если не вступит в полное противоречие с уже существующими и коллективно принятыми тенденциями развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики». — Полн. собр. соч., т. 29, с. 81.
2. Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik. I. Buch. Leipzig, 1973.
3. Щерца В. И. О словах с противоположными значениями (или о так называемой энантиосемии). — Филологические записки. Вып. V—VI. Воронеж, 1883.
4. Давыдов М. В. Звуковые парадоксы английского языка и их функциональная специфика. М., 1984, с. 5—29.
5. Психологический словарь. Под ред. Давыдова В. В. и др. М., 1983.
6. Азманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
7. Крысин Л. П. Энантиосемия. — В кн.: Энциклопедический словарь юного филолога. М., 1984.
8. Die deutsche Sprache: Kleine Enzyklopädie. Bd. I. Leipzig, 1969, S. 272.
9. Fremdwörterbuch. Leipzig, 1966, S. 481.
10. Аристотель. Метафизика. Соч.: В 4-х т. М., 1976, т. 1.
11. Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М.—Л., 1956, с. 107.
12. Лабов У. Структура денотативных значений. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М., 1983.
13. Кураев В. И. Содержание и форма. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1983, с. 621—622.
14. Журавлев А. П. Фонетическое значение. Л., 1974.
15. Воронин С. В. Основы фоносемантики. Л., 1982.
16. Маркс К. Существенное различие между классической и вульгарной политической экономией. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26.

17. Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. — Полн. собр. соч., т. 41, с. 89.
18. Кибрик А. Е. Лингвистические постулаты. — Уч. зап. Тартуского ун-та, 1983, вып. 621.
19. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1955.
20. Klappenbach R., Steinitz W. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 4. Berlin, 1981.
21. Лосев А. Ф. Языковая структура. М., 1983.
22. Маковский М. М. Теория лексической аттракции. М., 1971.
23. Маковский М. М. Системность и асистемность в языке. М., 1980.
24. Labov W. Denotational structure. — In: Papers from the parasession on the lexicon. Chicago, 1978.
25. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М., 1983.